

Вадим Черников  
**ПОМОРСКИЙ СКАЗ**

16+



*Про море Студеное,  
про войну Великую,  
да про то, как Севостьян и Северьян  
Мангазею-страну искали*

Вадим Черников

**ПОМОРСКИЙ СКАЗ. Про море  
Студеное, про войну Великую,  
да про то, как Севостьян и  
Северьян Мангазею-страну искали**

«ЛитРес: Самиздат»

2017

**Черников В. В.**

ПОМОРСКИЙ СКАЗ. Про море Студеное, про войну Великую,  
да про то, как Севостьян и Северьян Мангазею-страну искали /  
В. В. Черников — «ЛитРес: Самиздат», 2017

ISBN 978-5-5320-9566-3

Память о прекрасной северной стране Мангазее-прообразе земного рая-хранится и передается в сказах поморов сотни лет. Однако для многих она-лишь страна сказочных богатств, где земля усыпана драгоценными камнями. Много охотников за наживой сгинуло в Студеном море, так и не найдя несметных сокровищ. Так и не поняв, что сказочная Мангазея сама найдет тебя. Если прожить свою жизнь так, как Северьян Кондратов.

ISBN 978-5-5320-9566-3

© Черников В. В., 2017  
© ЛитРес: Самиздат, 2017

# Содержание

ПРОЛОГ	6
Конец ознакомительного фрагмента.	15

В оформлении обложки использована фотография с сайта <https://www.pexels.com/ru-ru/> по лицензии ССО

## ПРОЛОГ

Весной 2000 года вахтенный одного из российских сухогрузов, шедших по Карскому морю караваном из Певека в Мурманск закричал и указал направо. Моряки десятка судов с изумлением увидели удивительную картину: из моря, бесшумно и величественно, вставал остров. Небольшой, метров двести – привычно отметили наметанные глаза моряков. Древние постройки, колоннады, разрушенные дороги и улицы, по которым с шумом стекали потоки грязной воды, видели сотни моряков. Остров всплыл и показался им во всём великолепии, сияя жёлтыми бликами среди розового утра. О том, чтобы подойти поближе, капитаны даже не думали. И правильно: через несколько минут остров вздрогнул и погрузился обратно в морскую пучину.

По прибытии в Мурманск все моряки каравана были опрошены специальной комиссией. Показания сходились до мелочей. Всплывающий остров Карского моря стал реальностью. Только никто не знал, когда ждать следующего его появления.

Полутьма в вагоне, тепло, да сквозит, по ногам гуляет холод. Светят жёлтыми язычками пара закопчённых керосинок. Меж досками пола посвистывает ветерок. Надышали люди, закурили, а кто и перекусить успел, не вытерпел до станции. Быстро ели что-то, закрывая руками от взглядов соседских, нарочито не замечая чьего-то завистливого кряхтения, хмыканья да громкого глотания липкой, голодной слюны. К утру поезд должен был прийти в Архангельск-город и вагон постепенно пустел людьми, да наполнялся северным, поморским, окаящим говором. Кто-то ехал в сам город, к «трескоедам», как шутя называли архангелогородцев жители окрестных сёл, кому-то выходить было раньше, на бесчисленных полустанках и разъездах Беломорья. Пахло угольным дымом, махрой, вяленой треской, луком и перегаром, но всё перешибал селёдочный неистребимый дух. Раньше её в этих краях ели иногда, свежую, основное только скоту и толкли, а теперь и сами рады любой, хоть ржавой. Зима шла на убыль, но в середине марта ещё сыпала снежком и прихватывала ночным морозцем. Народ ехал разный, в основном усталые женщины, серьёзные, негромкие дети, степенные старики, вёрткие старушки, несколько подозрительных на вид и на запах мужичков, да пара солдат-инвалидов в старых телогрейках и с тощими вещмешками.

Не считая ещё двух интересных персонажей. Один тихо дремал в темноте, негромко похрапывая и постанывая. Второй был на виду. На откидной полке у окна разместился мужчина лет тридцати – а может, и больше-, весь в чёрном. Чёрные форменные брюки были заправлены в короткие сапоги. На плечи накинут чёрный новенький полушубок. Чёрная флотская шапка с якорем лежала перед ним на хлипком столике. В распахнутый ворот тужурки была видна тельняшка в чёрно-белую полосу и мощная, длинная шея. Под ногами моряка стоял один туго набитый вещмешок, а на второй он опирался локтем. Два чёрных валенка, вдетых один в другой, были воткнуты между мощным его туловом и грязным, с трещиной от угла до угла вагонным стеклом. Серо-стальные глаза моряка глядели на всё спокойно и умиротворённо. Всё подмечали. Длинные, похожие на ласты нерпы кисти его высывались из рукавов и белели – розовели старыми и свежими шрамами-рубцами. Ещё один начинался от правого виска и чертил свой неровный след вверх, теряясь где-то под шапкой русых, тронутых сединой на висках волос.

Моряк ехал долго, попутчики его менялись на каждой станции и полустанке, но ни с кем он не разговаривал, лишь смотрел по сторонам и впитывал, казалось, новую для себя жизнь, кипевшую вокруг него в ползущем по военной стране вагоне. Смотрел днём, а по ночам, пряча руки за шапкой, читал-перечитывал, шевеля губами беззвучно, листы в крупную линейку, сворачивая их обратно в треугольники, вставляя конец в клапан и пряча куда-то глубоко, под сердце. С каждой сотней километров, приближающих его к дому, лицо его всё светлело, стано-

вилось будто бы благороднее и наливалось мужской, глубокой и мощной красотой. Женщины, наткаясь на спокойный, не раздевающий, а ласкающий его взгляд, теплели, вспоминали и заливались румянцем. Не стыдным румянцем, выдающим их тайные - да что там тайного-то! – у кого месяцы, а у кого и годы уже проходили без мужской ласки– желания, а вспыхивали, осознавая себя вновь женщинами, тихо любовались мужчиной и вспоминали, мечтали... И выходили – лёгкие, молодые, желанные – на своих станциях и полустанках и пропадали снова в пучине своих забот, тревог, дел... Вновь взваливая на свои тёплые и одинокие плечи дом, детей, работу, планы, обязательства. Вновь шли спасать страну своим сердцем, любовью, терпением. Глушить делами своё воющее в ночи одиночество, мокрые от слёз подушки да искушенные простыни. И ждать, ждать своих... Обмирая и умирая каждый раз, когда вдоль улицы шла принимавшая на себя всё женщина-почтальон -мужики не выдерживали-, у которой уже не было ни слов, ни сил утешения для тех, кому приносила она, одну за одной, похоронки. Вой женский бил ей в спину, подгонял, как вихрь, и всё быстрее убегала она вдоль домов, вдоль улиц, чтобы не слышать ничего, оглохнуть на время.

Вой стоял и стон по всей огромной стране, третий год сражающейся в страшной войне и начинающей ломать хребет – позвонок за позвонком – проклятому врагу. Но у многих женщин ещё оставалась надежда. Не только похоронки приходили, ломая жизни о колено, но и живые птицы-треугольники нёс, кружил пахнувший фронтовым победным дымком ветер в светлевшие радостными женскими слезами дома. Для таких моряк был живым примером того, что невеликое их счастье возможно. Возможно! Только надо ждать. Всех их провожал взгляд моряка, дававший им надежду на что-то неясное, уже неупомненное, но светлое, высокое...

Молодой, грустный парень без ноги положил подбородок на костыль, с которым он пока ещё не научился дружить. Деревянный его с некоторых пор «товарищ» то и дело скользил в разные стороны, и парень зло ставил его на место, ища в полу вагона какую-нибудь выбоину. Весёлый, пьяненький, с пустым правым рукавом пожилой солдат поначалу теребил попутчика и коллегу по несчастью, предлагая выпить чего-то мутного, доставаемого периодически и неловко из-за пазухи. Пожилой, видать, был правшой и тоже только привыкал к своей второй, не родной и единственной теперь руке. Зато морально он, в отличие от молодого, свыкся со своим состоянием и положением. Без руки жить было вполне можно. И без ноги тоже, – покровительственно кивнул он молодому, – вот без головы нельзя, брат... Парень на этот раз выверился на него всерьёз и послал так далеко, что однорукий оптимист уважительно кивнул и, ничуть не обидевшись, закурил, а потом прислонился к дощатой стенке и мгновенно уснул. Голова его тряслась в такт колёсам, а общипанные седые усы топорщились самодовольно в разные стороны. Молодой облегчённо вздохнул и снова впал в свои тяжёлые думы.

Поезд несколько раз потрянуло, дёрнуло с лязгом и скрипом где-то внизу, под полом. От последнего толчка телогрейка однорукого распахнулась и тускло блеснули на левой стороне неожиданно чистенькой гимнастёрки, выдававшей старого солдата, три тяжёлые медали. Одна из них – «За отвагу» – была ещё старого образца, на красной прямоугольной колодке, ставшей теперь буро-ржавого цвета. На правой были аккуратно нашиты пять планок, отмечавших ранения. Три красного цвета за лёгкие. Две желтые. Тяжёлые. Молодой вздохнул ещё горше, сокрушённо, коря себя за грубость. Запахнул телогрейку пожилого правой рукой и прихватил её на пуговицу. Потом подложил тому под голову шапку. Пожилой тут же съехал вместе с шапкой ему на плечо и блаженно всхрапнул. Одноногий кивнул головой и как-то посветлел лицом. Оглядел свою выцветшую гимнастёрку с одиноким значком «Гвардия» и тоже свесил русую голову на костыль, который нашёл-таки ямку в полу и встал крепко.

Полился из угла поморский говор: мальчик лет семи просил мать сказать о Голоменом царе. Та отказывалась, устало отмахиваясь рукою и поддерживая на коленях голову маленькой спящей девочки. Мальчик терпеливо вздохнул, но сидящая напротив кряжистая старушка

только кивнула и начала нараспев сказывать, окая и ставя ударения там, где им вроде бы совсем не место:

– Голоменной царь. Вокоторы-то давношны леты, унёсло во пылко морьско голомё коць с Кулояна. Било морё их цетвёры воды, а на третьёй-от день тиха пала, погодьё. Омалтаписсе кулояна, гленули – тако лосо намори, вода кротка, одаль держит луда, а серётка луды трои полохола сидят – шолнцё, ветёр да мороз. Цюют кулояна, котора идёт: которой из полохол большак намори? Увидали трои полохола кулоян-от, ко луды коць потташшили, оприколили, кричат: «Сказывайте держит, которой меж нама самой могутной на мори? Которого нарецёте, тот из нас на голомёно царьсво настанёт». Кулояна недолго меж собою поредили, да и ответ дёржат: «Вы фсетрои могутны, абольшак оту вас один – ветер. Он и йесь голоменной царь». Тут мороз осердилсся, пал на кулоян – хотел застудить-заморозить. А ветёр говорит им: «Не бойтиссё, я дуть не стану, дак мороз без ветру не порато морозлив». Не стал дуть ветёр – мороз окротел, пошшипал-пошшипал, да и оступилсся от кулоян. А тут шолнцё взъерилоссе, стало жгать да жарить. А ветёр опять затёшшат: «Не бойтиссё, я подую, дак с ветерём-от шолнцё не порато жарит». Пал ветёр на лосо морё – шолнцё и оступилоссе. Тут вода сполнилоссе, оттулило коць от каменной луды, поднели яна на поветёр парус, да скорёхонько ко дому-то и добежали. А ветёр-от и взаболь на мори держит е фсех – он-от над фсема вёрхову держит.

Царь морских просторов. Однажды, давным-давно, унесло в бурное открытое море судно (коч) с кулойцами (жителями с. Кулой). Носило их по морю двое суток, а на третий день наступило затишьё, погода уллучилась. Кулойцы пришли в себя, огляделись – на море штиль, вода не всколыхнется, неподалеку каменная отмель, а посреди нее сидят три чудища – Солнце, Ветер и Мороз. Услыхали кулойцы, что спор идет – кто из чудищ на море главный. Увидали три чудища кулойцев, подтащили их судно к отмели, причалили его и кричат: «Говорите скорее, кто из нас самый сильный на море? Кого назовете, тот на морских просторах царем станет». Кулойцы посовещались и отвечают: «Все вы трое сильные. Но самый главный среди вас ветер. Он и является царем морских просторов». Тут мороз рассердился, набросился на кулойцев, хотел их застудить, заморозить. Но ветер говорит им: «Не бойтесь, я дуть перестану, а мороз без ветра не очень сильно морозит». Не стал дуть ветер, мороз уменьшился, ошипал-пошщипал и оставил кулойцев в покое. Тогда солнце взъярилось, стало жечь и припекать кулойцев. А ветер опять их успокаивает: «Не бойтесь, я подую, а с ветром солнце не сильно припекает». Поднялся ветер на море, солнце и отступило. Тут начался прилив и судно стало относить от каменной отмели. Подняли кулойцы парус и с попутным ветром быстро доплыли домой. С тех пор ветер на море действительно сильнее всех – он над всеми власть имеет.

Мальчик вежливо кивнул, старушка ответила и тут же прикрыла мутные глаза, давая понять, что на сегодня сказы кончились. Парнишка понял и устался в окно, видимо, переживая рассказ и обдумывая некоторые подробности.

Откуда-то сбоку, из темноты, зашипел сиплый мужской голос. Невидимый доселе пассажир проснулся. И решил выразить мнение в том, что только что слышанный им сказ старуха рассказала на неведомом языке, напоминавшем сор во рту. Не понять даже – русские или нет, мол. Старушка приоткрыла глаза, увидела того, кому принадлежит голос, отметила и снова задремала, не удостоив того ответом. Мальчишка посуровел, искал поддержки у взрослых, но мать спала, а бабушка делала вид, и он снова отвернулся к окну. Не встречая отпора, голос осмелел, и из угла высунулась какая-то лисья, вытянутая мордочка – лицо мужчины лет пятидесяти. Он мелко, по-интеллигентски озирался по сторонам, готовясь нырнуть обратно в темень, но опасности, кажется, не было. Потому он потребовал ответа о принадлежности языка. Старушка открыла глаза и ожгла его ледяным-синим, разъясвив, что язык этот зовётся поморска говОря. Искони на ём они... Мужчина понял, разочаровался, махнул рукой – почвы для научного диспута не намечалось, подытожил: мол, бабьи байки это.

Неожиданно скоренько разогнулась женщина, потёрла щёку, на которой лежала, стрельнула зелёными молниями глаз, а за нею уже выглядывал серьёзный сын. Женщина сердито оборвала мужчину, разъяснив ему, что они не бабы, а жонки. А бабами-то сваи забивают. Мужчина на несколько секунд опешил, неожиданно рассмеялся и стал похож на обыкновенного учителя. Заторопился, разъясняя, что он и есть учитель русского, едет из эвакуации в Архангельск по разнарядке, наткнулся на взгляд моряка, извинился и пропал в полумраке. Старушка промолвила, мол, ничё, и всё вновь улеглось, лишь учитель что-то шептал, запоминая и постигая изначальные устои далёкой поморской земли, куда его направили из Куйбышева, где он всех понимал и его все тоже понимали или хотя бы делали вид.

Захлопали гулко двери в конце вагона, следом за звуками раздался тихий подсвист, и трое мужичков мигом испарились из вагона вслед за «свистуном», стоявшим в тамбуре на шухере. Неслышной гурьбой ушли они в начало поезда, тихо прикрывая за собою двери. Вовремя, потому что в другом конце вагона появился милицейский наряд: сержант и ефрейтор в добротных, синего сукна шинелях и новеньких скрипучих ремнях. Младший светил небольшим фонариком, оба смотрели на пассажиров – один тревожным и нарочито внимательным, а второй просто намётанным взглядом. Сержант, судя по всему, проводил практическое занятие со своим напарником: он шёл сзади, изредка указывая ефрейтору на его оплошности тем, что останавливался перед незамеченной в углу подозрительной личностью и негромко требовал предъявить документы.

Ефрейтор то и дело вынужден был конфузливо возвращаться и светить старшему фонариком. После чего тот разрешал – можете следовать! – ехать и пара снова двигалась по вагону. Дойдя до моряка, ефрейтор решил проявить бдительность первым и навис над ним всё с тем же требованием предъявить документы. Сержант молча остановился за ним, внутренне посмеиваясь над молодым, но авторитета власти терять было нельзя. Поддержал его и одновременно снова подучил-подначил, козырнув и представившись сержантом Евсеевым. Моряк перевёл спокойный взгляд на ефрейтора, и тот тоже представился, оказавшись ефрейтором Смирновым, неловко переложив при этом фонарь из правой руки в левую. Луч жёлтого света запрыгал по стенам и потолку, высветив заинтересованные лица инвалидов. Пожилой, как ни в чём не бывало, уже сидел прямоенько, смотрел живыми глазами, а молодой лишь поднял взгляд, так и не отняв подбородок от становившегося всё более удобным костыля. В поморской семье теперь спала только дочка. Неожиданное приключение доставило всем приятное любопытство, столь нужное в долгой дороге. Расшевелить молчаливого морячка милиция всё-таки может.

Моряк спокойно кивнул, улыбнулся и пошевелил покатыми плечами, доставая книжку красноармейца из нагрудного кармана морской тужурки. Он молча подал документ ефрейтору, но тот замешкался, глядя на его грудь, и моряк опустил книжечку на стол, накинув вновь на плечи съехавший тулуп. Ефрейтор пришёл в себя и взялся за документы, но его отодвинул в сторону сержант, вновь показав свой опыт и авторитет, потребовав от «товарища старшины» отпускное свидетельство. Пожалуйста. Товарищ старшина подбородком указал на книжку, в которую была вложена бумага с печатью: свидетельство об отпуске на десять суток, не считая дороги. Ефрейтор, нашедший и раскрывший бумагу и сержант – через плечо напарника – быстро прочли текст, который вызвал у них разные эмоции. Младший свернул бумагу, вложил её в книжечку и положил перед моряком на стол, а вот сержант неожиданно построжел, выразив сомнение вопросом в пустоту: «Не считая дороги»?

Моряк молчал, давая понять, что добавить ему к написанному нечего, на что старший грозно потребовал документы на награды и орденские книжки. Попрошу! Ещё одна пачка – моряк проходил не первую проверку за долгую дорогу, – завёрнутая в трофейный непромокаемый пакет, легла на стол. Милиционеры тщательно просмотрели орденские книжки, проверили записи о медалях... Инвалиды смотрели на всё это действие с привычным фронтовым чувством гадливости, которое пожилой прятал за усмешкой из-под усов, а молодой даже не собирался

скрывать, нарочито громко стуча-скрипя костылём. Сержант на это молчаливое неприятие ответил строгим взглядом на инвалидов и семью поморян. Поставил их на место коротким вопросом о том, не было ли в вагоне подозрительных, на который он, впрочем, вовсе не ждал ответа.

В северном краю были свои взгляды на многое и определённый поведенческий кодекс. Несмотря на то что с середины двадцатых годов здесь буквально понатыкали наспех сколоченных бараков для ссыльных подкулачников, где те вымирали семьями; разорили монастыри или превратили их в лагеря; прошерстили тайгу лесозаготовительными бригадами и шабашками, в этих краях выдавать кого-то было не принято. Стыдно было. Беглые политические – таких было мало – или настоящие урки, сбежавшие «вольные» с лесозаготовок, чудом выжившие «кулаки» скорее могли получить еду и подсказку, куда идти – кому к поезду, кому к морю –, чем их сдавали властям. Все – и беглые и власти – это знали. Первые платили тем, что старались не безобразничать, а тем паче так или иначе задевать поморян. За воровство могли изувечить всерьёз, а уж за иное насилие расплата следовала незамедлительно и неотвратимо. Самым серьёзным преступлением здесь считалось посягательство на кочи и шняки – поморские суда. Таких просто топили, как котят, вывозя на тех же судах в море без лишних разговоров и эмоций. С войной эти установки не сильно изменились: даже отсутствие мужчин, ушедших поголовно на фронт, не изменило положение дел в поморских деревнях. Оставшиеся крепкие старики и рано взрослевшие в суровом краю мальчишки давали, случалось, отпор «залётным», не знавшим местных правил. Да и жонки-поморки повсеместно умели стрелять и стояли, одна за другую, а та за третью и так за всю деревню иль посёлок, крепко.

Вторые же, которые власти, полагались больше на себя, зная, что особой помощи от местных они не получают. Стращать и грозить было бесполезно: в Поморье не было генетической привычки кланяться властям. Лгать привычки тоже не было, но доносить считалось распоследним делом. Раз судом судили, значит ладно, сиди да о грехах своих думай, на то время тебе и дадено. Если сбежал, то каждый на свободу хочет. За недогляд – с того и спрашивайте, кто недоглядел. А нам ловить бёглых не забота. Про крепостное право здесь сроду слухом не слышали, а налоги платили исправно и деловито. Каждый был хозяином, и стыдно было им не стать. Когда нужно было – выходили и давали отпор сваям, британцам и прочим врагам самостоятельно или под воеводой присланным. Если таковой толковым был. А нет, так могли и спровадить. Особенно если не просто бестолковый, но и людей не жалеет, гонит на смерть почём зря. Такого могли побить да отправить обратно. Ценили жизнь человеческую здесь превыше всего. Да что человеческую – зверя лишнего побить считалось баловством и лихостью. Или рыбу не в срок ловить, пока не отнерестилась. Всё это сержант Евсеев, сам из местных, отлично знал и понимал, в отличие от своего напарника. Отношения здесь могли строиться только на уважении, но в поезде их не выстроишь, как ни старайся. Вот и теперь поморское семейство не удостоило его даже взглядом, а инвалиды лишь пожали плечами.

Смирнов таких мыслей старшего не ведал и ловил, как собака, лишь интонацию. Потому и выдал неожиданно – одноногий не удержался, крикнул – совершенно дикое требование снять орден – им-де номер надо проверить...

С сержант поспешно – Ох, и дурак! Его-то вполне логично насторожила запись в отпускном свидетельстве «без дороги», что было настоящей редкостью, но после «иконостаса» на груди моряка вопросы отпали, а Смирнов начал проверять всё до номера. Хорошо, старшина Северьян спокойный мужик оказался... – перебил его, чётко козырнув старшине, заверив Северьяна Севостьяновича, что всё в порядке, и напомнив, что его разъезд через час с небольшим. Пойдём, Смирнов! Северьян медленно встал, оказавшись высокого, но не огромного роста, надел шапку и козырнул в ответ. Упал с одного плеча полушубок, сверкнуло серебром и золотом, ахнул мальчуган, снова крикнул одноногий, а ефрейтор Смирнов быстро засеменял за развернувшимся сержантом... На тужурке в ряд выстроились ордена: справа привинчены два

– Красной Звезды, слева на красно-белой колодке высоко ценимый на фронте Боевого Красного Знамени, за ним – невиданный ещё, только-только учреждённый, неестественно жёлтый орден «Славы» третьей степени с кремлёвской башней, два ряда медалей: «За отвагу», «За боевые заслуги» (в просторечии «за бэ-зэ»), ещё какая-то, с якорями, цепями и благородным профилем адмирала...

Тулуп вновь занял своё место на плечах, и Северьян сел, убирая документы обратно. Всё утихло, лишь мальчик продолжал выглядывать поверх материнского плеча, пока на него не шикнула бабка, и он вновь стал хотя и маленьким, но серьёзным мужичком. Неожиданное приключение окончилось. По вагону как будто пронёсся свежий ветерок. Повевало солёным морем, простором и, впервые, победой, концом проклятой войны. Жонка крепко поцеловала удивлённого и смущённого такими, «на людях», нежностями сына, погладила спящую дочку и улыбнулась матери, тоже спрятавшей улыбку в губы. Дочка у неё теперь одна. Двух её братьев уже схоронили под Ленинградом да под этим, подо Ржевом. Зять живой, последнее письмо было три месяца как... Ох, дай Господи, хоть его-то! Она закусил губу крепкими зубами и откинулась в темноту под полкою: Митенька, Фролушка...

Инвалиды закурили.

Северьян молчал. За десяток минут до срока начал деловито собираться. Переобулся в валенки, застегнул тулуп, вскинул вещмешки – один за плечи, второй на плечо, кивнул инвалидам и семейству коротко. Пошёл, неожиданно легко перенося своё мощное тело и умело держа равновесие в вагоне, как на качающейся палубе корабля. Поезд завизжал и притормозил у полустанка. Северьян ловко спрыгнул, не дожидаясь остановки вагона, и пошёл, ни разу не обернувшись, через заснеженное поле к чернеющему впереди лесу. Дошёл до леса, вздохнул всею грудью воздух и прошептал что-то. Потом громко и дико закричал во весь голос нечто нечленораздельное...

Затерялось эхо среди леса. Небо висело чёрным непроницаемым куполом с единственной синей, холодной звездой. Северьян улыбнулся сам себе и пошёл лёгким, до странного бесшумным для его громоздкого тела шагом по снегу. До дома было каких-то семнадцать километров.

Тишина была такой, что слышал Северьян стук своего сердца. Пока ехал, вспоминал о доме, а теперь нахлынуло другое. Непривычная фронтовику тишина – а слышал он её такую впервые за три года. Госпиталь и тыл не в счёт, там тишина другая, гнетущая и тревожная. Знаешь, что или сосед по палате вот-вот будет стонать, или ворвутся в неё командирские крики и команды. А здесь тишина обволакивала его как ватный кокон. Саван тишины. Но вдруг... всё стало другим. Запахло чем-то ещё более свежим, воздух стал прозрачным, как вода, потом загустел и будто малюсенькие льдинки-пылинки в нём образовались. Вот понеслись они, мерцающие-невидимые, снизу вверх, заискрились, завихрились, закручиваясь в разноцветные столбики, устремились в бескрайнюю высь...

Северьян остановился, сбросил мешки на снег, снял шапку. Он знал, помнил это состояние мира. Не раз, но и не часто видел Северьян великое великолепие Севера. Родное небо встречало его, и по щекам заструились неудержимым потоком густые, благодарные слёзы, солёные и чистые, как вода Студёного моря. Он успел перекреститься, как леса впереди него не стало. И тёмного края земли не стало. Небо упало на землю, и кто-то огромными руками распахнул невидимый занавес, отделяющий чудо от зрителя. И запылало прямо у него перед ногами, застилая всё вокруг синим, зелёным, фиолетовым непередаваемыми словами цветами, зарево–сияние! Колыхались молчаливыми волнами складки-валы занавеса, пылало зарево, выливая потоки немислимо-белого, чистейшего света, переходя в голубое и чёрно-синее... И вновь перекачивая новые цвета, добавляя желтоватого, розового и перечёркивая всё вновь зелёным, бирюзовым и снова синим... Небо бушевало красками, а маленький человечек стоял, еле дыша, пока не выплакал всё, что нужно было.

Высохли слёзы на щеках Северьяна, и в такт им стал задёргиваться занавес северной сцены. Бледнели краски, таяли в воздухе, оставляя следы как от морской пены на весу. Вот истаяли и они... Снова стал виден лес, и деревья, и небольшая сопка и темнеющий на глазах край неба, за которым был его дом. Северьян вздохнул счастливо, надел шапку, накинул мешки и зашагал своею дорогою, невольно прибавляя шаг и помогая себе руками, как лыжник.

В благоговении и душевной чистоте отмахал он первые несколько километров, не особенно замечая знакомые с детства камни-валуны, замёрзшие озёра, прогалины и сопки. Ноги несли его самой короткой дорогой, а душа, очищенная слезами, была в кои-то веки лёгкой, невесомой. Потом мысли вновь взяли своё. Всплыли из памяти отрывки, картинки, эпизоды. В поезде в основном отдыхалось, мечталось, наблюдалось за людьми в обычной, не военной обстановке. Интересно было, а скорее отвычно. Теперь родные места вновь напомнили ему о его жизни, думать о которой всерьёз за три военных года было некогда. Точнее, ни к чему было думать. В первый год выжил чудом, во второй везением, в третий – и тем и другим, да ещё и умением. Как будет дальше – кто знает, да только и пройдено за двадцать девять лет немало. Самое время вспомнить, толково рассудил Северьян, по прозвищу Молчун или Шатун. И то и другое к нему подходило в самый раз. Первым окрестили дома, а вторым – в армии. Только мало кто и дома и в армии ведал, что Северьян ещё любил думать, наблюдать да подмечать. Глаза заменяли ему пустую болтовню, а уши давали пищу для дум. И ещё Северьян любил читать, так что, вопреки общему мнению о том, что он нелюдимый медведь, внутри его была к двадцати шести годам крепкая платформа-база, а на войне он получил прямо-таки воз новых знаний и море поводов для размышлений.

К сказам его приохотила неграмотная бабка. Читать научила мать – въедливая и упрямая, себе на уме Пистимея, твёрдо командовавшая своим огромным, косматым мужем Севостьяном, которого боялись и уважали во всём Онежском краю-береге. Кипела жизнь тогда, в Северьяновом детстве, работалась работа во всём Поморье. Кто варил чистейшую соль, а кто – незаменимую смолу. Добывали первостатейную слюду, в Европах прозванную почему-то «мусковитой». В устьях рек ловили жемчужное зерно, и ходили поморские жонки в праздник усыпанные матовыми ягодами с головы до подола. Добывали на Матке, как называли Новую Землю, в Серебряной бухте металл драгоценный и монеты чеканили в Архангеле-городе на всю Русь. Отправляли в бочках в Московию ещё царю Ивану Грозному «земляную кровь» – нефть, а Петру рубили боевые корабли. Последнему императору российскому слали колмогорских – так-отто звали здесь Холомогоры – знаменитых коров и мезенских лошадей. Сеяли лён и овёс. На святых Соловках братия растила виноград и арбузы, мандарины и дыни. А исконным была охота на морского зверя – нерпу, да моржа, да морского зайца, и тресковый промысел.

Первым рыбаком слыл Севостьян Кондратов, да и добытчиком морского зверя был удачливым. Приходили к нему порою целые делегации, и тогда Севостьян степенно и подробно рассказывал о течениях да о мелях, о сроках прихода рыбы да о ветре. Книгу он за всю жизнь прочитал одну, мореходную «Поморскую лоцию», знал её насквозь, а опыта ему было не занимать. Каждый камень и отмель знал он в Студёном море. Да и в океане многое ведал. Смолу плавал он и на Грумант-Шпицберген, и к Железным воротам – Карскому проливу. Много про него легенд и небылиц сказывали. Баяли, видел он саму Мангазею. Да не город в устье реки Таз, сам собою сгинувший от жадности тамошних купцов до пушного зверя, разоривших тайгу и себя сгубивших, а настоящую, которая из моря встаёт людям честным да верующим. В лексиконе Севостьяна даже слова Мангазея и Таз представляли антагонизмы. Иной раз он хвалил, если дело какое сделано ладно: мол, от какая Мангазея-то! А если что выходило неладно, ворчал: де эт-то не Мангазея, эт-то Таз!

Иногда его так и звали – Севостьян-Мангазея, но он не любил такого прозвания, и употребляли его, только когда его не было рядом. А другим, одиночкам да охотникам до прибылей, Севостьян сказывал коротко, не расписывая подробностей. Уж про Мангазею таковым слышать

было заказано, не проси. Любил он во всём порядок, срок да лад. Но более всего любил он море, и на суше, казалось, чувствовал себя неудобно. При первой возможности подымал он свой серый простой парус и скрывался подальше ото всех. Морским человеком был Севостьян. Да и как не быть им, ведь сказывали, что и родился он в море, когда вёз отец семью из Мурманска. Там жонку свою и схоронил после родов-то. В море. Тяжёлыми рождались Кондратовы, уже детьми крупными были. Неохотно жонки шли за них, да всё же шли. Этим отказать трудно было, всё равно на своём настоят, всех женихов отвадят, а от самих-то глаз не отвести.

Может быть поэтому, а может и нет, но родила Пистимея Севостьяну только Северьяна, и не смогла больше, хорошо сама выжила и сына выходила. Уже к пяти годам он медленно, но уверенно водил пальцем по самым разным книжкам – от маленьких, копеечных, на ярмарках продаваемых и с показным неудовольствием, но бесперебойно привозимых отцом, до акафистов и староверской тяжёлой Библии. Потом и в школку пошёл, да с удовольствием. Говорить только больше не стал, а окончательно приклеил себе прозвище Молчун, которое его ничуть не обижало. Потому что было правдивым. Впрочем, звали его так только за глаза, потому что силою Северьян пошёл в отцову породу, а не в материну, мелкокостную. Севостьян же был огромного росту, могучим и жилистым, костистым и длинноруким. Легко таскал он тяжеленные сети с треской из воды, которые и вдвоём удержать было не вмоготу. Схватывался с огромными моржами. Плавал порядочно. Сказывали, что смолоду пошёл он на Матке и на белого медведя нарочно, с одним ножом, так еле оттащили всею ватагой, иначе сломал бы его Хозяин, хотя Севостьян было иного мнения. Поостыв, признал, что погорячился, и товарищей, помятых в свалке, простил. А они его, приговаривая, что лучше бы медведя-от держали, чем Севостьяна. Меньше б кости болели. Побайвались его, хотя людей с той поры, ощутив свою силу, он никогда не трогал, а если попадался –редко-, кто его не знал и лез в драку, бурчал в бороду, что сломает же, как треску морожену о колено, отошёл бы от греха подальше, пока лихому-залётному объясняли, что жизнь – штука хорошая, только порой быстро заканчивается. Ежели всё-таки кто-то так и не унимался, товарищи Севостьяна сами «учили» таких. Больно, да зато живой... Отлежавшись да увидев Севостьяна в деле, строптивец обыкновенно падал в ноги вчерашним обидчикам и благодарил за науку. Те посмеивались хитро в бороды, но благодарность принимали всерьёз.

Северьян же учился, но как-то сам собою. Вслух читать не любил, спрашивать разъяснений тоже, а потому складывал знания на полочку внутри себя и перебирал их как страницы. Что-то понимал сразу, что-то нет, но отец был не из болтунов и если говорил, то по делу. Мать, та больше угождала ему, единственному сыночку, ласкала и пела песни. Сама же потихоньку чахла, скрывая свои хвори за делами, да к двенадцати Северьяновым годам погасла, как лучина. Так и остались они с отцом да с бабкой по матери втроём. В то время Севостьяну было под пятьдесят, хозяйство у него было крепкое и вдовцом он был завидным, только больше на жонку он и не смотрел. Борода после смерти Пистимеи у него в одну ночь поседела льном и стал он горбиться, как вещий старец. Через год немного оклемался, явно вынашивая какую-то свою важную мысль, и взялся за единственного сына всерьёз. Знал Северьян, конечно, и умел многое из поморских дел, но главным всегда было Студёное море. Море – наше поле, говорили поморцы. Вот там и пропали Севостьян да Северьян на время. За несколько лет сплавали они с отцом вдвоём на все беломорские острова: Соловецкие и Кий-остров, и на Кузов-архипелаг, и на Жижгин, Сосновец и Моржовец. А потом и в океан пошли на Кильдин, Колгуев и Матку. Ловили треску, вялили. Били зверя морского и пушного – песца полярного и лисицу. Стрелком, правда, Севостьян был не ахти каким – белку в глаз не бил, и Северьяна не особо этому ремеслу обучил, хотя, по обычным меркам, охотниками они были изрядными.

За морскими заботами поначалу не замечал Северьян по молодости, а Севостьян намеренно о том, как меняться стало всё в Поморье. Впрочем, как выяснится совсем скоро, Севостьян не только всё замечал, но делал верные выводы и готовился. Новая власть поначалу их не

трогала, взявшись за главное: быстро порушила все монастыри да церкви позакрывала. Поморские кресты-глядни вырывались -чтобы быть упорно поставленными на место, ведь каждый уважающий себя мореход в этих краях ставил такие кресты не только в память о сгинувших в пучине, но и в обыкновенных мореходных целях-, организовывались сельсоветы и плодились артельные, колхозные бригады. Поначалу только предлагали, а потом уже стали туда «забрирать» почище армии.

Вслед за этим начались массовые вырубki леса, а затем потянулись тысячи эков в Беломорье на строительство знаменитого канала. По морю дымил пароход, переименованный из «Святого Савватия» в «Глеб Бокий», доставляя новых заключённых в некогда святую Соловецкую обитель. Ходили слухи, что настоятеля Соловков архимандрита Вениамина и келейника Никифора сожгли заживо в лесной избушке на берегу Волкозера. Потом оказалось, что это совсем не слухи...

Никаких тебе винограда и арбузов. Только СЛОН теперь водился на Соловках. Занял весь остров Соловецкий лагерь особого назначения. Да и если бы только он один. Как губки -так называли здесь грибы- после дождя росли разные «Лаги» -вообще, сокращения и аббревиатуры в то время вполне себе заменяли слова- в Поморье, впитывая «врагов» и готовясь изрыгнуть эту массу сломленной, бесплатной рабсилы на стройку – гордость молодой страны ББК. Беломорско-Балтийский канал. И вскоре, ожидаемо, дошли заботы у окрепшей и окропившей кровушкой руки власти до местных «кулаков да до подкулачников» и прочих зажиточных хозяев. Хотя, по меркам новой власти, таковыми можно было считать почти каждую поморскую семью, но всё же в числе первых по всем трём спискам стоял Кондратов Севостьян Прокопьевич. Внесли всюду, чтобы с гарантией не ошибиться. Несмотря на то что он слова против новой власти не сказал, хотя его не раз на это провоцировали, но раздражал всех одним фактом своего независимого положения и зажиточного состояния. Кровь и пот, потраченные на это самое состояние, традиционно в расчёт не брались. Как и отсутствие батраков и прочих «угнетённых», которых можно было бы поставить в вину Севостьяну. Закон, веками нерушимый на Севере, перестал действовать окончательно. Точнее, соблюдать его старались только поморы, изначально поставив себя в положение проигравшей стороны до скончания века.

С тем и появился к Кондратову уполномоченный с маузером и с бумагой. Выслушал его Севостьян и кивнул, прикрыв двери. Было это в 1931 году, когда Северьяну была ещё неделя до восемнадцати лет. Самому Севостьяну бумага на самом деле ничем особенно страшным не грозила в силу возраста. Высылать его тоже было некуда, и так на Севере. Поэтому ему предлагалось добровольно отдать вновь образованному колхозу двух из трёх коров, трёх из четырёх лошадей, охотничьи ружья в количестве трёх штук с патронами и прочее, что будет признано «лишним». И так вот, налегке, войти в колхоз имени товарища Ягоды – вдохновителя и организатора северных строек. И всё бы ничего, тем более что от колхоза можно было отвязаться, но чья-то умная головушка придумала, как хлестнуть независимого старика побольнее, и приписала-предписала -«ввиду преклонного возраста» – забота! – крикнул Севостьян, читая- ему сдать власти и коч со всеми рыболовными снастями «для нужд созданной рыболовецкой артели – коммуны». Знал кто-то грамотный, что старик этого не стерпит. Знал и готовился. Но не знал он Севостьяна...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.